
РОМАН
ЛИТВИНЦЕВ
АНТОЛОГИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ
МИСТИКИ

Роман Литвинцев

Антология Забайкальской мистики

https://litres.ru/74716709
SelfPub; 2026

Аннотация

Это художественное повествование в форме путевых заметок фольклориста, который в октябре 1913 года путешествует по Забайкалью и собирает местные поверья и бывальщины. Через диалоги с жителями и собственные переживания рассказчика раскрывается особый мир глухой окраины Российской империи — замкнутый, живущий по своим законам, где время будто кружится на месте, а старые обычаи и суеверия — не наивные сказки, а своего рода способ выживания.

Содержание

Роман Литвинцев 4
Антология Забайкальской мистики 5
Оглавление 6
К читателю 7
История 1. 13
История 2. 20
История 3. 26
История 4. 33
История 5. 41
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Роман Литвинцев
Антология
Забайкальской мистики

Роман Литвинцев

Антология Забайкальской мистики

© Роман Литвинцев, 2026

Это художественное повествование в форме путевых заметок фольклориста, который в октябре 1913 года путешествует по Забайкалью и собирает местные поверья и бывальщины. Через диалоги с жителями и собственные переживания рассказчика раскрывается особый мир глухой окраины Российской империи — замкнутый, живущий по своим законам, где время будто кружится на месте, а старые обычаи и суеверия — не наивные сказки, а своего рода способ выживания.

Оглавление

Антология Забайкальской мистики
К читателю
История 1. Домовой
История 2. Банник
История 3. Кикимора
История 4. Хозяин леса
История 5. Водяные чертенята
История 6. Про то как ведьму распознать
История 7. Летучий змей
История 8. Приемник колдуна
История 9. Сорок дней дороги
История 10. Сила материнского проклятия
История 11. Поверья об удавленниках
История 12. Оборотень
История 13. Утес над Нерчей
История 14. Лысая гора
История 15. Упырь
История 16. Русалий гребень

К читателю

Дорогой читатель, если ты держишь эти строки, не ищи в них сухого этнографического отчёта. Я, впрочем, имя мое не так важно, фольклорист и собиратель бывальщин, ехал по Забайкалью в конце октября 1913 года, когда степь уже не была ни летней, ни зимней — она была мёртвой границей между двумя мирами, а небо цвета сталь висело так низко, что казалось, будто оно вот-вот ляжет на плечи и придавит к земле.

Мой возок скрипел на ухабах, и каждый скрип отзывался во мне тревогой: я понимал, что еду туда, где слово имеет вес, а взгляд — силу. Забайкалье тогда жило замкнуто: для старика из глухой заимки Иркутск был почти как иная планета, а Маньчжурия и Монголия — и вовсе краем мира, о котором знали только пограничные казаки. В этих местах время шло иначе: оно не бежало вперёд, а кружилось на месте, цепляясь за старые обычаи, за шепоты, за тени в углах изб.

Я остановился в станице, прижавшейся к берегу мутной реки, где избы стояли так плотно, будто хотели держаться друг за друга, чтобы не упасть в темноту. Хозяйка, Марфа Семёновна, была из тех, кто «знает слова» — не ворожит, не гадает, но помнит, как надо говорить, чтобы беда обошла стороной.

— Расскажите мне что-нибудь, — просил я, стараясь го-

ворить спокойно, будто речь шла о погоде или урожае. — Что в этих местах люди друг другу шепчут, когда на дворе темно, а дети уже спят?

Она посмотрела на меня долгим, оценивающим взглядом, в котором не было ни враждебности, ни особой доброты — только усталость человека, который слишком часто повторял одно и то же.

— А ты не из тех, кто потом в газете напишет да посмеется? — спросила она, и в её голосе прозвучала не обида, а древняя, въевшаяся в кости осторожность.

— Я записываю, чтобы не забыть, — ответил я. — А если забуду, то как будто и не было ничего. Как будто весь этот мир — просто сон.

Она кивнула, будто приняла какое-то внутреннее решение, и начала говорить. И с первых же слов я почувствовал, как в избе становится холоднее, будто кто-то приоткрыл дверь в тёмный, сырой погреб.

— Ой милой! У нас тут леший не просто лес сторожит, — проговорила она, глядя не на меня, а куда-то в угол, где тени лежали особенно густо. — Он ещё и дороги путает. Не зло ради зла, а будто проверяет: кто идёт, зачем, с какими мыслями. Если человек злой или пустой, леший его кружит до тех пор, пока силы не кончатся.

Я достал блокнот и начал записывать, но рука дрожала, и буквы получались кривыми, будто сами не хотели ложиться на бумагу.

«Зачем я это пишу? — думал я про себя, обращаясь к тебе, читатель. — Чтобы доказать, что это просто суеверия? Или чтобы удержать хоть каплю этой правды, пока она не растворилась в городском шуме? Ведь здесь, в этой глуши, люди жили так замкнуто, что их мир был как отдельный остров, где время текло по своим законам, а старые поверья не были просто словами — они были картой местности, по которой можно было пройти и не пропасть».

Марфа Семёновна продолжала:

— А ещё леший может в знакомого обернуться. И не просто так, а чтобы завести туда, куда человеку ходить не положено. В пустой дом, в болото, на старую тропу, что ведёт не к людям, а к тем, кто людей не любит.

Тут она замолчала и посмотрела на меня так, будто только сейчас поняла, что передо мной не просто слушатель, а чужак, которому нельзя знать слишком много.

— Ты это записываешь, а потом уедешь, — проговорила она тихо. — А нам тут жить.

— Я не для смеха, — повторил я. — Я потому и езжу, что боюсь: если не запишу, эти слова умрут.

И тогда останется только тишина. А тишина в этих местах… она бывает опасной.

Она снова кивнула, будто согласилась не со мной, а с какой-то своей мыслью.

В наших местах слова имеют вес. Особенно если их произнести в лесу.

Я закрыл блокнот и посидел немного, прислушиваясь к тишине, которая в этом доме была не покоем, а чем-то настороженным, будто стены хранили чужие голоса и ждали, когда кто-нибудь их услышит.

«Ты думаешь, это просто сказки? — обращаюсь я к тебе, читатель, пытаясь унять дрожь в груди. — Но что, если эти истории — не выдумки, а предупреждения? Что, если в них зашифрована карта мест, где граница между миром людей и миром древних сил истончилась настолько, что любой неверный шаг может стать последним? Ведь именно из-за этой замкнутости, из-за того, что люди редко выезжали за пределы своей волости, эти поверья не размывались новыми впечатлениями, а становились крепче, как лёд, намерзший на старых брёвнах».

На следующее утро я отправился дальше, вдоль реки, где вода была такой тёмной, будто в ней растворили саму ночь. По дороге я встретил охотника, угрюмого, молчаливого человека, который смотрел на мир так, будто ждал от него подвоха.

— Слыхал, ты по деревням ездишь, слова собираешь, — проговорил он, не глядя на меня, а будто сквозь меня, в даль, где степь сливалась с небом. — Только не всё надо записывать. Есть слова, которые лучше не тревожить. Они как змеи: пока их не трогаешь, они лежат тихо. А начнёшь ворошить — укусят.

«Откуда он узнал». –подумал я.

— А если не записать, они забудутся, — возразил я.

— Пусть забываются, — хмуро ответил он. — Некоторые вещи лучше забыть.

— Ты ищешь страшные бывальщины, — проговорил он, когда мы сидели у печи, и пламя отбрасывало на стены длинные, дрожащие тени. — А знаешь, самое страшное не в том, что люди видят. Самое страшное — в том, что они перестают видеть. Когда лес перестаёт быть просто деревьями и тропами, а становится чем-то, что смотрит на тебя и ждёт.

«Что ты делаешь? — спрашивал я себя, обращаясь к тебе, читатель. — Ты собираешь эти истории, будто они — просто экспонаты для музея. Но что, если они — живые? Что, если, записывая их, ты не сохраняешь прошлое, а пробуждаешь его? Ведь именно эта замкнутость, это отсутствие школ и библиотек, слабое влияние духовенства — всё это создало особую атмосферу, в которой суеверия не были просто наивными представлениями, а были способом выживания, картой, по которой люди учились ходить по миру, не пропадая».

«Прости, читатель, — думал я, выводя последнюю строчку в блокноте. — Я не хотел тебя пугать. Но я не могу врать, что это просто сказки. И если ты когда-нибудь окажешься в этих краях, помни: не кричи в лесу, не смейся над старыми поверьями и не произноси в сердцах слов, которые могут быть услышаны. Потому что здесь есть силы, которые не прощают легкомыслия. И они знают, где ты стоишь, даже если ты сам этого не видишь».



История 1.

Домовой

В тех избах, что стоят на отшибе, где ветер гуляет по сеням, а половицы помнят шаги давно ушедших, люди знали: дом — он не просто брёвна и глина. В нём живёт своя воля, свой тихий хозяин, к которому лучше обращаться уважительно, иначе он напомнит о себе так, что кровь стынет в жилах. Забайкальцы звали его по-разному: «соседка», «буседушка» — будто старались смягчить само имя, чтобы не тревожить лишний раз. Говорили, что он седой, покрытый мягкой шерстью, словно старый мех, и ходит в серой рубахе, а иной раз — в красной шапочке, будто подчёркивая своё право быть здесь главным.

Он жил тихо: в щели между брёвнами, за иконой в переднем углу, в печурке, под шестком — везде, где тепло смешивалось с тенью и где мир живых чуть-чуть соприкасался с чем-то иным. По вечерам, когда в избе гасили свет и только угли в печи тлели багровыми глазами, он выходил, чтобы присматривать за хозяйством. Особенно любил лошадей: кормил их, поил, а любимым заплётал из гривы косу — так, что утром хозяин дивился, как это само собой вышло. Но стоило его прогневать, и он становился страшным: мог мучить скотину, гонять её по конюшне до изнеможения, а

то и придушить, оставив на шее синеватые полосы, будто от невидимых пальцев.

Был в Нерчинском округе казак Пискунов, и рассказывал он такую историю. У одного хозяина лошади всегда были сытые, гладкие, будто их каждый день угощали лучшим овсом, а у другого, соседа, те же лошади ходили тощими, с ввалившимися боками, хоть он и кормил их не жалея. Завидовал сосед, да не просто так, а до злости, и однажды решил подсмотреть. Дождался ночи, прокрался к конюшне и спрятался в сенях, держа в руке тусклый огарок свечи. И вот видит: выходит из темноты седой старик, весь в шерсти, с лицом, будто выточенным из старого дерева, берёт бочку, идёт к колодцу, черпает воду, несёт лошадям. Потом достаёт из-за пазухи краюшку хлеба и скармливает им, ласково приговаривая что-то на своём, непонятном языке.

Сосед не выдержал. Вернулся к себе, взял топор и продырявил водовозную бочку у того хозяина — так, чтобы вода уходила сквозь щели, как сквозь решето. Думал, теперь-то у соседа лошади будут голодать, а он сам станет выглядеть лучше. Но вышло иначе. На следующую ночь домовой снова пошёл по воду, снова наполнил бочку — и снова вся вода вытекла по дороге. Он возвращался, снова ходил, снова наливал, и так много раз, пока глаза его не стали тёмными, как прорубь в январе, а в движениях не появилась тяжёлая, злая неторопливость. А потом он вошёл в конюшню и передушил всех лошадей — одну за другой, без крика, без хрипа,

будто просто погасил в них свет. Утром хозяин нашёл их лежащими в стойлах, с открытыми глазами, в которых застыло удивление.

С тех пор в деревне знали: домового нельзя дразнить, нельзя мешать ему хозяйничать. Чтобы в доме царили спокойствие и благополучие, а скотина не болела, хозяева старались поддерживать с ним добрые отношения. Раз в год для него стряпали лепёшку — простую, без затей, но с уважением — и клали её в печурку, в подполье, в конюшню или на скотный двор.

А если переезжали в новый дом, то наливали рюмку водки, брали ту самую лепёшку и, унося их вперёд, тихо говорили: «Дедушка, соседушка, пойди с нами жить». Считалось, что если позвать его с почтением, он последует за семьёй, неся с собой не только дух старого дома, но и его защиту.

Были и способы увидеть домового — но люди редко решались на такое, потому что встреча с ним не всегда сулила добро. Говорили, что если прийти с зажжённой свечой от Христовой заутрени и встать в переднем углу за иконами, можно заметить в тени седенького старичка в красной шапочке — он будет стоять неподвижно, будто прислушиваясь к чему-то, чего человеку не дано услышать. Другой способ был ещё хитрее: в Великий четверг, причащаясь, нужно было вынуть изо рта частичку просфоры, завернуть её в чистую тряпицу и хранить при себе. А в ночь Христовой заутрени с этой частичкой следовало пойти в пустой дом и спу-

ститься в подполье — там, в самой глубине, где пахнет сырой землёй и старыми досками, покажется домовой в шапке-невидимке. Ещё говорили, что его можно мельком увидеть во время крестного хода вокруг церкви: в тот миг, когда процессия обходит храм, он снимает свою шапку-невидимку, и на мгновение становится видимым — седеньким старичком, который стоит в стороне и смотрит на людей с непонятным выражением, будто оценивает, достойны ли они его покровительства.

Но чаще домовой являлся сам, без всяких обрядов — ночью или в сумерках, когда граница между мирами становилась тоньше. Его видели спускающимся с полатей, идущим вдоль стены, скользящим по полу, словно тень, которая вдруг обрела форму. Иногда он просто проходил мимо спящих, не трогая их, и это считалось добрым знаком. Но порой он наваливался на человека всей своей тяжестью — так, что невозможно было ни вздохнуть, ни пошевелиться. В такие мгновения нужно было успеть спросить, собрав последние силы: «Дедушка буседушка, к чему меня душишь?» И если он отвечал: «К добру!» — значит, случится что-то неожиданное и приятное: девушка выйдет замуж, хозяин найдёт потерянное, в дом придёт достаток. Но если он говорил: «К худу!» — то это была весть о беде: о разорении, о гибели скота, о болезни, которая придёт тихо, как тень, и не отступит, сколько ни молись.

В одной станице, в Шелепушкинской, казак Чижутин

рассказывал, как однажды проснулся среди ночи и увидел, как седенький старичок в серой рубахе стоит у его кровати и смотрит на него немигающими глазами. Казак не растерялся, хотя сердце колотилось так, будто хотело вырваться из груди, и успел спросить: «Дедушка буседушка, к чему меня душишь?» Домовой помолчал, будто взвешивая слова, и тихо ответил: «К худу». На следующее утро у казака пала лучшая лошадь, а через неделю сгорела конюшня. С тех пор он всегда оставлял для «соседки» лепёшку и никогда не говорил о нём с насмешкой — потому что знал: в этих краях духи слышат каждое слово, и обиду



нят дольше, чем люди.

История 2.

Банник

В Забайкалье где зима дышит холодом прямо сквозь брёвна, а баня стоит на отшибе, будто сама по себе, отдельно от людских забот, люди знали: переступать её порог — значит ступать на чужую территорию. И хозяин там был свой — злой, своенравный, не терпящий суеты и насмешек. Его звали банником, и имя это произносили негромко, почти шёпотом, будто даже стены могли донести его до того, кто сидел в темноте за каменкой.

Старики учили ребятишек: никогда не торопи того, кто в бане, не кричи «ну, скоро там?», не смейся над паром и не шути про жар — банник всё слышит, и обиду помнит. Говорили, что он может принять облик человека или зверя, и тогда не поймёшь, кто перед тобой: сосед или нечто, что смотрит на тебя нечеловеческими глазами. А если войти без позволения, да ещё и посмеяться над духом, он мог содрать кожу с живого, или просто задушить, тихо, без крика, так, что потом никто не найдёт ни раны, ни следа.

Баня в тех местах была по-чёрному: простая, грубая, сложенная из толстых брёвен, с печью из дикого камня, которую ставили не вплотную к стене, а оставляли щель сантиметров в двадцать — чтобы стена не занялась пламенем. В этой ще-

ли, как шептались старики, и жил банник, прячась в дыму и копоти, наблюдая за теми, кто решался войти. И мылся он всегда после «третьего пару» — в тот самый час, когда воздух становился густым, как смола, а тени — длиннее и плотнее. Потому и говорили: «Ходи в свой пар», и не задерживались дольше нужного, особенно в тот час, когда банник считал баню своей.

Был в деревне случай, который помнили долго. Один мужик зашёл попариться, а приятель его остался снаружи и, не подумав, начал торопить:

— Ну чё ты там, скоро или нет? — крикнул он раз, потом второй, а потом и третий.

Из бани донёсся голос, низкий, будто из-под земли:

— Нет, я ещё его обдираю только!

Приятель побледнел, будто из него вынули всю кровь. Он рванул дверь, и то, что увидел, заставило его застыть на пороге: из темноты торчали только ноги, а всё остальное будто ушло в ту самую щель между печью и стеной. Мужика будто протащило туда силой, и голова его сплющилась, как у тряпичной куклы, которую слишком сильно сжали. Сам он никак не смог бы пролезть в такую тесноту. Еле вытащили его, живого, хоть и без памяти. Банник не успел закончить своё дело — но и этого хватило, чтобы в деревне надолго перестали смеяться над теми, кто долго моется.

Другой случай был в Еремино. Там жил дед Константин — крепкий, молчаливый, привыкший не верить в «бабьи

сказки». Он ходил в баню вместе с женой, и в тот вечер всё шло как обычно: жар, пар, запах берёзового веника. Жена оделась первой и сказала:

— Я уж пойду, а ты догоняй.

Пришла домой, посидела, подождала — пятнадцать минут нет, двадцать… Сердце у неё сжалось, будто предчувствуя беду. Побежала обратно к бане, распахнула дверь предбанника — и увидела мужа: он лежал на полу, совершенно голый, с закрытыми глазами, а кожа его была синеватой, будто из него выкачали весь жар. Еле живого его вытащили, отпоили, отогрели, а он потом долго не мог говорить толком, только бормотал что-то про руки, которые тянули его на полок, про голоса, которых не было слышно, и про то, как его стаскивали оттуда — будто целая толпа хватала за ноги, за голову, мяла и душила, пока он не потерял сознание.

— Схватили, раздели, на полок утащили, — шептал он потом, глядя в угол, где тени казались гуще обычного. — А потом стаскивать начали… Кто за ноги, кто за голову… И душат, и мнут…

Он больше никогда не задерживался в бане после третьего пару. И если кто-то в деревне начинал торопить другого, дед Константин только качал головой и говорил тихо, будто боялся, что его услышат:

— Не торопи. Пусть моется. Банник не любит суеты.

С тех пор в тех краях знали: баня — не просто место для мытья. Это граница, тонкая линия между человеческим и

иным, и переступать её нужно с почтением. Каждый, входя, крестился и произносил тихо, почти про себя:

— Господи, хозяин, впусти в баню помыться, попариться.

И никогда не оставались дольше, чем нужно, особенно когда пар становился таким густым, что в нём можно было утонуть, а в шорохе углей слышался чей-то чужой, тяжёлый вздох. Потому что есть силы, которые не терпят пренебрежения, и банник —



на из них. Он ждёт своего часа, своего пара, и горе тому, кто встанет у него на пути.

История 3.

Кикимора

Кикимора — это воплощение колдовских чар, способное одушевлять неодушевлённые предметы. Для её «напускания» в жилище использовали различные методы: брали куклу, игральную карту с изображением человеческого облика или, заметив плывущее по воде дерево с корнем, отламывали от него сучок. Затем, возвращаясь домой в тишине, чтобы никто не заметил, этот сучок втыкали за печку — именно там, где хотели поселить кикимору.

С наступлением темноты напущенная кикимора начинала издавать странные звуки, переворачивать мебель, поднимать полы и бросать в жильцов различные предметы, которые, свистя, пролетали мимо. Интересной особенностью её проделок было то, что утром все предметы оказывались на своих местах, не повреждёнными. Хотя кикимора не причиняла физического вреда, её ночные выходки вызывали беспокойство и вынуждали людей покидать дом.

Для изгнания кикиморы в доме проводили молебен или обращались за помощью к знахарям. Существует множество историй о её проделках.

Я не стану клясться, что всё было именно так, как шептали в деревне, но и отрицать не стану: есть вещи, которые

лучше не трогать, а уж тем более не пытаться объяснить.

В той избе, что и сейчас стоит на отшибе, будто сторонится соседей, случилось три чуда — так говорили старики, и слово «чудо» звучало у них не как благодать, а как проклятие. Хозяйка ушла за дровами, оставив поросёнка в тепле, возле печки, где угли ещё дышали жаром. Вернулась — а поросёнок носится по избе, не по-звериному, а с какой-то злой, неестественной ловкостью: прыгает на лавку, с лавки — на стол, опрокидывает кринки, топчет половики. И в глазах у него — не свиная тупость, а что-то острое, чужое, будто кто-то чужой смотрел на хозяйку сквозь эти маленькие чёрные зрачки.

А потом в доме стала маячить собака — жёлтая, тощая, с шерстью, стоявшей дыбом, словно её изнутри подталкивало наружу нечто, не умещавшееся в теле. Она не лаяла, не рычала — просто появлялась то в сенях, то посреди горницы, стояла, не мигая, и смотрела так, будто видела не избу, не хозяйку, а что-то за ними, в той стороне, куда человеку лучше не глядеть. А следом возвращались следы — кучи, будто чушка снова бегала по дому, хотя хозяйки не было и в помине. Уберут, выметут, закроют двери на засов — а наутро всё повторяется, будто ночь стирала дневной труд и возвращала избу к какому-то иному, дикому порядку.

Однажды ночью все двери разом распахнулись — не от ветра, не от сквозняка, а будто сами по себе, с резким, сухим треском, от которого у любого волосы встают дыбом. Потом

открыли шорну — ту самую, где в колхозе чинили упряжь, подгоняли хомуты, ладили сёдла к весенней пахоте. Там пахло кожей, железом, старым конским потом — запах был земной, привычный, и оттого особенно чужеродным показалось то, что пришло следом.

Старик появился не сразу — сперва в дверях мелькнула тень, густая, будто сотканная из самой темноты, а потом он шагнул внутрь. Мохнатый, словно оброс шерстью до самых глаз, а рук у него не было — только обрубки, торчавшие из рукавов, будто их кто-то обкромсал ножом. Он стоял и смотрел, не моргая, и от этого взгляда у всех, кто был в шорне, кровь будто застывала в жилах. Кто-то схватил клещи — тяжёлые, с потемневшими от времени губками, — и замахнулся, не столько чтобы ударить, сколько чтобы прогнать этот ужас, вернуть миру привычные очертания. Старик метнулся в сторону и исчез так же внезапно, как появился, оставив после себя только запах сырого леса и ощущение, будто воздух в шорне стал гуще, тяжелее.

На другой день та самая жёлтая собака пробежала мимо, а следом пришла другая — огромный кобель, ростом почти с телёнка, с глазами, в которых не было ни злости, ни страха, а только пустота, от которой хотелось закрыть лицо руками. Он постоял у порога, будто принюхиваясь к чему-то, чего люди не могли ни увидеть, ни учуять, и ушёл, оставив на земле следы, слишком большие для любой собаки.

Тогда-то и начали искать. Не просто так, не наугад, а по

старым приметам, по тем способам, которыми в деревнях веками пытались удержать нечисть за порогом. И нашли — в укромном месте, под половицей, где никто не ступал, лежала маленькая куколка, замотанная в тряпицу, будто в пелёнку. Личико у неё было не вышито, не нарисовано — просто узел, перетянутый так, что напоминал мордочку, и от этого становилось ещё страшнее: казалось, что в этом узелке спрятано что-то живое, ждущее своего часа. «Ерничинка», — шептали старухи, и в этом слове слышался не просто диалект, а древний, забытый корень, означавший что-то вроде «маленького зла».

Рядом, в соседнем доме, история пошла ещё горше. Там жила девочка, маленькая, шустрая, вечно путавшаяся под ногами. В тот день хозяйка вышла по хозяйству, печка топилась, а девочка играла рядом со щепочками, тянулась к углям, которые манили её своим тёплым мерцанием. Никто не видел, как она выгребла угольки, как вспыхнула одежда, как огонь обнял её, словно давно ждал этого момента. Мать прибежала, распахнула двери — а внутри уже бушевало пламя, и она не смогла пробиться к дочери. Девочка сгорела, и дом будто запомнил этот крик, эту безысходность, и стал отдавать их обратно в мир в виде странных, пугающих знаков.

С тех пор в том доме тоже начала бегать чушка, оставляя после себяэкскременты. И там тоже нашли ерничинку — такую же куколку, замотанную в тряпицу, с узелком вместо лица. Выбросили её подальше от деревни, в овраг, где

даже трава росла неохотно, и после этого всё стихло. Чушка перестала носиться по избе, двери больше не распахивались сами собой, а жёлтая собака будто растворилась в сумерках, как и не было её.

Но старики говорили, что такие вещи не исчезают бесследно. Они уходят в землю, в воду, в тени между деревьями, чтобы ждать своего часа. И если кто-то снова потревожит то, что лучше оставить в покое, если снова найдёт в укромном месте маленькую куколку с узелком вместо лица — всё начнётся заново. Потому что есть в мире силы, которые не терпят человеческого любопытства, и лучше не знать их имён, а уж тем более — не



таться с ними заговорить.

История 4.

Хозяин леса

Ночь легла на лес тяжёлым, плотным покрывалом, в котором тонули даже самые громкие звуки: треск сучьев, крик совы, дыхание ветра. Казалось, сама тишина здесь была не пустотой, а чем-то вещественным — густым, липким, будто смола, в которую можно увязнуть и уже не выбраться.

Я шёл по старой тропе, что вилась между соснами, и всё чаще ловил себя на мысли, что она ведёт не туда. Тропа была знакомой — я ходил по ней с детства, знал каждый поворот, каждую корягу, каждый камень, выступающий из мха. Но сегодня она будто подшучивала надо мной: то сворачивала туда, где раньше был глухой бурелом, то выводила к болоту, которого здесь быть не должно.

«Опять леший блудит», — пробормотал я, вспоминая слова деда. Тот всегда говорил, что лес — не просто деревья и мох, а живой, внимательный мир, у которого есть свой хозяин, и этот хозяин не прочь посмеяться над человеком.

И тут тропа оборвалась. Просто исчезла, растворилась в высокой траве, которая вдруг стала выше человеческого роста, хотя ещё минуту назад её едва было видно под ногами. Я остановился, прислушиваясь, и в этой тишине услышал шаги — ровные, неторопливые, будто кто-то шёл рядом, но чуть

позади, стараясь не наступать на сухие ветки.

— Кто здесь? — окликнул я, и мой голос прозвучал неестественно громко, как будто лес не хотел его принимать и выталкивал обратно, к моему горлу.

Из-за сосны вышел человек. Обычный, ничем не примечательный: в простой рубахе, с палкой в руке, в сапогах, заляпанных глиной. И лицо… знакомое. Слишком знакомое.

— Тимофей?! — выдохнул я, не веря своим глазам. Тимофей был моим старым товарищем, он утонул в прошлом году на переправе, и я сам помогал нести его гроб.

— А, здравствуй, сосед, — спокойно кивнул он и улыбнулся той самой улыбкой, которую я столько раз видел на деревенском празднике, когда он смеялся над какой-нибудь шуткой и щурил глаза. — Чего стоишь? Пойдём, тут недалеко.

— Ты… ты же… — я запнулся, чувствуя, как холод ползёт по спине, цепляясь за каждую мышцу, как когти.

— Чего «я»? — он снова улыбнулся, но на этот раз в улыбке мелькнуло что-то другое — не злое, не доброе, а просто чужое, как у человека, который забыл, как быть человеком. — Тропа тут путаная, я тебя выведу.

Он повернулся и пошёл вперёд, уверенно, будто знал каждый куст, каждую кочку. И я пошёл за ним. Не потому, что хотел, а потому, что ноги сами шагнули, будто их тянуло невидимой верёвкой.

Мы шли долго. Слишком долго для того, чтобы дойти до

деревни. Тропа петляла, возвращалась, пересекала сама себя, и каждый раз, когда я пытался остановиться и оглядеться, Тимофей оборачивался, смотрел на меня своими спокойными, чуть прищуренными глазами и говорил:

— Не стой. Тут болото близко.

И я шёл.

Потом он вдруг остановился у старого пустого дома, который стоял на краю леса, давно заброшенный, с провалившейся крышей и окнами, похожими на пустые глазницы.

— Вот, тут посиди, переведи дух, — сказал он и толкнул дверь, которая скрипнула так, будто не открывалась сто лет.

Я хотел отказаться, но слова застряли в горле. Вместо этого я шагнул внутрь, и дверь за мной захлопнулась с глухим стуком, от которого зазвенело в ушах.

В избе было темно, пахло гнилым деревом и чем-то ещё — сладковатым, тошнотворным, как запах давно умершего зверя. Я нащупал стену, провёл по ней рукой и вдруг понял, что стою не в избе. Я стою на ветке огромного дерева, высоко над землёй, а вокруг меня кружат вороны, хлопая крыльями и каркая так, будто смеются.

«Путник вместо лошади, которую ему якобы предлагает леший, обнаруживает себя сидящим на ветке дерева», — всплыли в памяти слова из старых рассказов.

Я закричал, но крик утонул в шуме ветра, который вдруг налетел, срывая листья и швыряя их мне в лицо. И тут я увидел его — не Тимофея, а настоящего хозяина леса.

Он стоял на соседней ветке, опираясь на посох, который был не из дерева, а из переплетённых корней, будто выросших прямо в его руке. Его лицо было человеческим, но только на первый взгляд: кожа казалась покрытой корой, глаза светились тусклым зелёным светом, а волосы были похожи на сухие ветви, в которых запутались листья и перья.

— Ну что, понравилось кататься? — проговорил он, и его голос звучал не как речь, а как шелест листвы, скрип деревьев и отдалённый вой волка, слитые в одно. — Я люблю смотреть, как люди удивляются.

Я попытался перекреститься, но рука не слушалась. Она поднималась, дрожала, но не складывалась в нужный жест.

— Не надо этого, — леший слегка наклонил голову, и на его лице промелькнуло что-то похожее на усмешку. — Ты мне не враг. Ты просто шёл не туда.

Он спрыгнул с ветки и приземлился на землю, будто и не был на высоте в несколько саженей. Подошёл ко мне и протянул руку.

— Держи.

В его ладони лежала мертвая белка — рыжая, пушистая, с остекленевшими блестящими глазами.

— Это тебе, — сказал леший. — В знак дружбы. Охотникам я тоже приношу белок. Но помни: если не успеешь ободрать её до рассвета, она оживёт и убежит. Таков порядок.

Я взял белку, чувствуя, как её тёплое тельце дрожит в моей руке.

— Зачем ты это делаешь? — прошептал я.

— Потому что могу, — просто ответил он. — И потому что мне интересно. Лес большой, а людей мало. Хочется иногда поговорить.

Он помолчал, глядя куда-то в сторону, будто прислушиваясь к чему-то, чего я не мог услышать.

— Но если будешь злиться на своих детей и кричать: «Хоть бы тебя леший унёс», — он посмотрел на меня, и в его зелёных глазах мелькнуло что-то серьёзное, почти печальное, — я могу и вправду унести. Слова имеют вес. Особенно в лесу.

Я кивнул, не в силах вымолвить ни слова.

— А за эту услугу, — он кивнул на белку, — ты мне отплатишь. Принеси завтра на опушку краюху хлеба, щепотку соли и кружку молока. Это не много. Но это знак, что ты помнишь, кто хозяин здесь.

С этими словами он повернулся и пошёл прочь, растворяясь в темноте, становясь частью леса: его тень сливалась с тенями деревьев, его шаги превращались в шорох листвы, а голос — в шёпот ветра.

Когда он исчез, я снова оказался на тропе, недалеко от деревни. В руке у меня была белка, живая и тёплая. А над лесом уже занималась заря, и первые лучи солнца скользили по верхушкам сосен, обещая, что день будет обычным.

Но я знал: ничего уже не будет как прежде. Я видел хозяина леса, говорил с ним, принял его дар. И теперь лес смот-

рел на меня не как на случайного путника, а как на того, кто знает его тайну.

Я прижал белку к груди, чувствуя, и пошёл к деревне. Солнце поднималось всё выше, и я надеялся, что успею ободрать белку до рассвета. Иначе она оживёт и убежит — и это будет не просто потеря добычи, а знак, что леший больше не считает меня своим.

А на опушке, как и было велено, я оставил краюху хлеба, щепотку соли и кружку молока. И когда я уходил, мне показалось, что в кустах мелькнул рыжий хвост — то ли



ки, то ли чего-то другого, что наблюдало за мной из тени и ждало своего часа.

История 5.

Водяные чертенята

Над рекой висела такая густая, почти осязаемая тьма, что казалось, будто сама ночь была не отсутствием света, а древней, равнодушной субстанцией — тяжёлой, холодной, способной проникать под кожу и сковывать кровь. Воздух был пропитан запахом сырого камня, прелой листвы и той особой, едва уловимой горечью, которая появляется там, где мир на мгновение сдвигается с привычной оси, и сквозь его трещины просачивается нечто иное, более древнее и безжалостное.

Я сидел напротив Ефима, охотника из Дуроевской станицы, в низкой избе, пропахшей дымом, старым деревом и чем-то ещё — чем-то, что не принадлежало человеческому быту, а скорее напоминало запах грозовой ночи, когда воздух становится тяжёлым и густым, словно перед ударом молнии. За окном шевелилась темнота, и её движение не было похоже на ветер — скорее на чьё-то неторопливое, внимательное присутствие.

— Ты говоришь, что видел чертенят, — пробормотал я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, будто речь шла о чём-то обыденном, а не о вещах, от которых у разумного человека должны вставать дыбом волосы. — Но ведь это детские

сказки.

Ефим медленно покачал головой, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на горькое понимание человека, который слишком поздно осознал, что мир куда сложнее и страшнее, чем ему хотелось верить.

— Сказки, — проговорил он тихо, не глядя на меня, а будто вглядываясь в ту самую тьму, что когда-то сомкнулась над рекой. — А я думал так же. Пока не оказался один на берегу, когда небо разверзлось, и сама стихия будто сошла с ума.

Он помолчал, словно снова переживая тот вечер, который давно должен был стереться из памяти, но вместо этого только глубже врезался в неё, как зарубка на старом дереве.

— Река текла между скалами, — начал он, и голос его звучал теперь не как рассказ, а как свидетельство, которое нельзя ни опровергнуть, ни забыть. — Местами скалы отступали, образуя зелёные луга, такие яркие, что казались почти неестественными, будто сама земля в этих местах была окрашена не травой, а каким-то иным, чуждым светом. Я был в лесу, охотился, и вдруг небо потемнело, как будто кто-то накинул на него чёрное полотно. Дождь хлынул стеной, ветер вздымал волны на реке, и казалось, что сама вода взбунтовалась против неба.

Я наклонился вперёд, чувствуя, как холод сжимает грудь.

— И тогда ты укрылся под навесом?

— Да, — кивнул Ефим. — Под старым каменным вы-

ступом, где когда-то, говорили старики, приносили жертвы древним духам. Я не верил в эти сказки, но в тот момент был рад любому укрытию. Сумерки опустились на землю, а гроза бушевала по-прежнему. И вот тогда я заметил их.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.